

Ф. Феллини

Федерико Феллини

Делать фильм

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-94
ББК 63.3-8
Ф38

Ф38 **Феллини Ф.**
Федерико Феллини: Делать фильм / Ф. Феллини – М.: Книга по Требованию, 2023. – 124 с.

ISBN 978-5-458-31496-1

Автобиография великого итальянского режиссера Федерико Феллини. В книге он рассказывает о рождении замыслов своих фильмов, о различных аспектах режиссерской деятельности, делится воспоминаниями.

ISBN 978-5-458-31496-1

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2023
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2023

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

В школе его прозвали Багароне за то, что, разозлившись, он начинал заикаться и бубнить, как эта птица. Но, несмотря на заикание, Сега был первым учеником в лицее и отличался необычайной прилежностью. Перешагнув через последний класс, он поступил прямо в университет, на медицинский. Узнав об этом, я очень обрадовался: в случае болезни можно было рассчитывать на помощь друга — прекрасного врача.

Сега все-таки приехал в клинику. Я, только что перенесший коллапс, рассказал ему, что со мной было и как меня теперь лечат. И он сразу же заключил: «Санарелли — Шварцман». Мне показалось — он шутит, и я рассмеялся, вспомнив о моде на двойные фамилии в довоенных юмористических журналах. Но Багароне не шутил. Тогда я сказал: «Ты останешься в Риме и изложишь свою точку зрения здешним светилам». И назавтра Багароне все им объяснил. Светила выслушали его очень внимательно, а потом сказали: «Ваша теория весьма привлекательна... блестящее истолкование...» — и т. д. и т. п. Багароне покраснел. Когда Багароне краснеет, лицо его приобретает фиолетовый оттенок.

Мой друг Багароне, мой школьный товарищ, мой Римини... Этой ночью мне снился наш порт и бурное, зеленое, грозное море, похожее на движущийся луг. Над ним в сторону берега неслись огромные, тяжелые тучи. Сам я тоже был огромным и старался выплыть в открытое море из бухты, маленькой, тесной. Я говорил себе: «Хоть я и гигант, но море — это же море. А ну как не выберусь?» И все-таки меня это не тревожило. Я быстро плыл брассом по маленькой бухте. Утонуть я не мог, так как доставал дно ногами. Какой многозначительный сон: быть может, он вернет мне веру в то, что я способен противостоять морю. Не призыв ли это оценить выше свои силы? Или перестать перестраховываться, прибегая, чуть что, ко всяким мелким уловкам, которые могут меня только связывать? В общем, так я и не понял, то ли мне с самого начала надо избавиться от этого комплекса «тесного порта», то ли не следует переоценивать свои возможности. В любом случае ясно одно: охоты возвращаться в Римини у меня нет. Должен в этом признаться. Срабатывает некий тормоз. Мои родные — мать, сестра — живут по-прежнему гам. Значит, я боюсь каких-то чувств? Прежде всего возвращение туда связывается у меня с таким самодовольным, мазохистским пережевыванием воспоминаний — позой, в которой есть что-то от литературы, от театра, хотя и ей не откажешь в известной привлекательности, очаровании — вялом, смутном. Дело вот в чем: я не могу принимать Римини как некий объективный факт. Для меня он, пожалуй, только одно из измерений памяти. И правда: стоит мне оказаться в Римини, как на меня набрасываются призраки, уже сданные в архив и разложенные по полочкам.

Останься я там, эти безвредные призраки, возможно, задали бы мне один щекотливый вопрос, от которого меня не спасли бы ни увертки, ни ложь, и тогда пришлось бы без обиняков и честно признать свою изначальную связь с родным городом. Римини... Что это? Одно из измерений памяти, воспоминания (между прочим, выдуманные, фальсифицированные, обработанные), на которых я уже столько спекулировал, что самому как-то неловко.

И все-таки я должен продолжать рассказывать о нем. Иногда я даже спрашиваю себя: в конце пути, когда жизнь еще больше тебя помнет, когда ты устанешь, сойдешь с дистанции, не захочется ли тебе купить домишко где-нибудь поближе в порту? В гавани старого города? В детстве я смотрел на порт через пролив, видел, как

сколачивают там каркасы лодок. Жизнь по другую сторону пролива рисовалась чем-то вроде сценок из «Кьоджинских перепалок» — в них не было места немцам, приехавшим к морю на своих «даймлер-бенцах».

По правде говоря, купальный сезон открывали у нас немцы из тех, что победнее. В один прекрасный день на пляже можно было увидеть брошенные на песке велосипеды и какие-то свертки, а в воде — толстух, «тюленей».

Нас, детей, обряженных в шерстяные шапочки, приводил к морю приказчик отца. Тогда там, в старой части порта, я видел чахлые кустики, прислушивался к каким-то голосам.

Не так давно через приятеля Титту Бенци я за баснословные деньги купил себе дом. Думал, обрету наконец постоянное пристанище и, может, даже заживу простой, тихой жизнью. Пустые мечты: дома этого я до сих пор ни разу не видел; больше того, меня раздражала сама мысль, что стоит где-то этот домик запертый, без жильцов и тщетно ждет кого-то.

Когда я решил от него избавиться, Титта сказал: «Но ведь это твоя земля!» — как бы напоминая мне, что я опять ее предаю.

Еще до приобретения этого дома, в котором так никогда никто и не жил, Титта уговорил меня купить участок земли в долине Мареккьи. Ну и местечко. Только проститутки там приканчивать.

В тот вечер, когда мы отправились посмотреть участок, поблизости зазвучала труба. Какой-то человек в трусах изображал спуск флага. Это был Фьорентини, знающий все о Гарибальди. О Гарибальди и еще о санджовезе. Дом Фьорентини на берегу Мареккьи забит всевозможными гравюрами, штандартами и прочими реликвиями. Сам он всегда ходит в трусах. Его лицо, лицо марионетки из обожженной глины, в тот вечер прямо лучилось в темноте.

«Вижу, человек симпатичный,— сказал он,— но кто этот синьор, не знаю». «Как! — воскликнул Титта.— Это же Феллини!» «Порка ма... — отреагировал Фьорентини и тотчас добавил: — Я тут откопал такое санджовезе... вы непременно должны его попробовать». Сей жрец вина — пожалуй, даже чересчур усердный — отругал меня за то, что я не согрел бокал в ладонях. «Феллини переезжает сюда! — продолжал Титта.— Чтобы жить здесь!» «Значит, будем вместе ловить кефаль»,— уверенно заявил Фьорентини.

Нужно заметить, что Мареккья в тех местах обнажает свое каменистое ложе, являя весьма унылое зрелище. Но Титта советовал участок все же взять. «Ты, патака, погоди,— твердил он,— скоро здесь пройдет автострада, земля поднимется в цене». Автостраду действительно проложили. Правда, в другом месте. Сегодня Фьорентини предлагает мне за участок пятьсот тысяч лир. Но пока эта земля моя.

Впервые я попал на Мареккью мальчишкой. Однажды мы, как водится, смылись с уроков. Я увязался за Карлини. У реки стояла черная «баллила», битком набитая полицейскими, которые, словно жабы, прыгивали с нее на гальку пересохшего русла. Медленно кружась, напозлали на деревья и затаивались среди сухих веток низкие тучи. Мы дошли до тополевой рощи и там увидели удавленника. Он был в кепке. Рядом уже дежурили двое полицейских. Я не мог понять, что происходит: видел только свалившийся на землю башмак, босую ступню и две латанные-перелатанные штанины.

Дом в Римини. Все дома, в которых мы жили, я помню хорошо, за исключением одного — того, где родился,— на улице Фумагалли. Однажды — мне было уже лет семь — в воскресенье после обеда нас повезли в коляске на прогулку. Зимой семья пользовалась закрытым ландо. Мы вшестером — родители, я с сестрой и братом и служанка — сидели в тесноте и в темноте, так как окошко приходилось закрывать из-за дождя. Мне ничего не было видно, кроме едва различимых лиц отца и матери. Зато сколько радости доставляло разрешение сидеть рядом с кучером: там, наверху, хоть дышать можно было.

В то воскресенье коляска свернула на бульвар, по которому мы никогда не ездили: вдоль него тянулся сплошной ряд домов. Папа сказал: «Здесь ты родился»,— и коляска покатила дальше.

Первый дом, который я действительно помню,— это Палаццо Рипы. И не просто палаццо, а палаццо на Корсо—главной улице. Хозяин дома одевался во все синее: синий костюм, синий котелок... А борода у него была белая, окладистая — ну прямо божество, которому можно только поклоняться и ни в коем случае нельзя перечить. Увидев его, мама вытирала руки и говорила: «Дети, угомонитесь, пришел синьор Рипа». И тут появлялся наш старец. Однажды утром я услышал громкое мычание, протяжные вопли: во дворик дома нагнали множество волов и ослов. Не знаю, что там было,— может, базар, может, какая-нибудь ярмарка.

Воспоминания о Римини... Rimini — слово, состоящее из палочек, шеренга солдатиков. Не знаю даже, как объяснить поточнее. Римини... сочетание чего-то смутного, страшного, нежного; и это могучее дыхание, этот распахнутый пустынный простор моря... Там грусть становится светлее, особенно зимой, когда на волнах белые гребешки и дует сильный ветер,— таким я и увидел море впервые.

А еще один наш дом, то есть дом, в котором мы жили, находился поблизости от вокзала. Именно там, похоже, предопределилась моя судьба. Это была небольшая вилла с палисадником и обширным фруктовым садом позади дома, примыкавшим к какому-то огромному зданию — то ли казарме, то ли церкви,— на фасаде которого полукругом белыми буквами была выведена надпись: «Риминская поли...ама». Две буквы осыпались, пропали. Поскольку наш сад находился в низине, участок, на котором за невысокой каменной оградой стояло соседнее здание, казался таким холмом.

Как-то утром я играл в саду — мастерил себе лук из лозины — и вдруг услышал грохот: это сворачивали громадную железную штору, на которую я никогда не обращал внимания. Но вот открылось черное нутро дома, и я увидел мужчину в плаще и берете и женщину с вязаньем в руках. И услышал такой диалог. «Убийца мог проникнуть в дом через окно». Женщина: «Окно закрыто». Мужчина: «Сержант Джонатан обнаружил следы взлома». Потом он обернулся ко мне и спросил: «На этом дереве есть инжир?» «Нне знаю»,— ответил я. Мужчина и женщина репетировали «Гран гиньоль» — спектакль ставила труппа Беллы Стараче Саинати. Я ухватился за протянутые мне руки и попал в какое-то темное помещение. Там были позолоченные ложи, а прямо перед собой я увидел пузатое туловище паровоза, подвешенного на канатах и мерцавшего в лучах прожекторов с красными, белыми и желтыми фильтрами. Это был театр.

Потом мужчина снова завел разговор об окне. Я не понимал, игра это такая или еще что. По-видимому, прошло много времени. Вдруг я услышал голос матери,

зававшей меня обедать: «Суп уже на столе!» «Ваш мальчик здесь», — сказал мужчина в берете и помог мне перебраться обратно в сад. Через два дня родители повели меня на спектакль. Мама рассказывает, что во время представления я ни разу не шелохнулся. Из темной глубины, из ночи, надвигался паровоз, а на рельсах лежала связанная женщина. Но в последний момент женщину успевали спасти, и сразу же опускался огромный, тяжелый, мягкий красный занавес.

Всю ночь я не мог успокоиться. Ведь в антрактах мне надо было еще рассмотреть кулисы, кресла, бархат, латунные украшения, коридоры, таинственные переходы, по которым я шнырял, словно мышь.

В этом доме, находившемся неподалеку от вокзала, у меня появились и первые друзья.

А вот дом по улице Клементини, 9, стал домом моей первой любви. Его владелец — «Агостино Долни и бр. Скобяные изделия» — был отцом Луиджино, моего товарища по гимназии, который играл в «Илиаде» Гектора («Илиаду» мы ставили сами).

Напротив нас жила семья южан по фамилии Сориани, и было там три девочки — Эльза, Бьянкина и Нэлла. Бьянкина была смуглянка, я мог наблюдать за ней из окна своей спальни. Впервые я увидел ее через оконное стекло, а может, — не помню уж точно, — когда она вышла в форме «маленьких итальянок». Грудь у нее были налитые, как у взрослой женщины. Сама Бьянкина — она живет в Милане — теперь отрицает, что мы с ней в детстве убегали в Болонью, как я кому-то рассказывал (неужели действительно рассказывал?), в лучшем случае, допускает она, я увозил ее на раме своего велосипеда за городские ворота — Ворота Августа.

В те времена все женщины были для меня в основном «тетями». Правда, я слышал разговоры об одном доме, где живут «такие» женщины. Это был дом Доры на виа Клодиа, где-то на берегу реки, так и говорили: «Дора, что у реки». Но при слове «женщины» мне представлялись только тети, приходившие к нам домой шить тюфяки, или крестьянки из бабушкиной деревни Гамбеттолы, которые веяли зерно в решетах. В общем, чего-то я недопонимал. Потом уж я убедился, что эти тети были не «такими». Дважды в месяц Дора нанимала пару извозчиков и провозила свой новый выводок по Корсо — в целях рекламы; тогда-то я и увидел накрашенных женщин в замысловатых таинственных вуалетках, куривших сигареты через золотые мундштуки, — новых женщин Доры.

В Гамбеттолу, затерявшуюся где-то в глубине Романьи, я ездил летом. Моя бабушка всегда держала в руках хворостину, и когда она размахивала ею, люди начинали двигаться, как в мультфильмах. Ничего не скажешь, умела она подгонять поденщиков, которых нанимала для работы в поле. По утрам слышались гомон, взрывы смеха. Но стоило появиться бабушке — и эти здоровенные свирепые дяденьки становились смиреннопочтительными, как в церкви. Тогда бабушка принималась разливать кофе с молоком и вникать во все дела.

Она заставляла Ньикелу «дыхнуть», чтобы узнать, пил ли он граппу, а тот смеялся, смущенно подталкивал локтем соседа — словом, вел себя, как мальчишка. Повязанная черным платком голова, большой ястребиный нос и блестящие, как горячая смола, глаза делали мою бабушку французской (Франческу) похожей на подругу вождя краснокожих Сидящего Быка. Отношение к животным у нее тоже было необычное: она распознавала у них болезни, угадывала настроение, мысли и

хитрости — как было, например, с конем, которого угораздило влюбиться в кошку. «Через три дня задует гарбеин», — заявляла она уверенно. И не ошибалась. Гарбеин — один из многочисленных ветров, дующих у нас в Романье. Ветер капризный, переменчивый, совершенно непредсказуемый. Для всех, только не для нее.

Была у моей бабушки закадычная подруга, чуть постарше ее, но еще даже покрепче. По вечерам, бывало, она отправлялась в остерию, сажала своего пьяного мужа в тачку и отвозила домой. Звали его Чапалос — это не греческое имя, а просто кличка, означающая: «бери кость». Однажды вечером жена везла его на тачке, а он сидел, свесив ноги через бортик, в отрешенно-униженном состоянии человека, ставшего всеобщим посмешищем. В тот раз наши взгляды встретились, я увидел его глаза под полями старой шляпы.

Крестьяне часто ссорились между собой. Три престарелые сестрицы целых двадцать лет грызлись из-за какого-то наследства со своим соседом-извращенцем. Они кидались комьями навоза, крали друг у друга кур, передвигали туда-сюда межевые колышки. А однажды на рассвете, просовещавшись, по-видимому, всю ночь, сестры ворвались в дом к соседу и отдубасили его до потери сознания выбивалками для одежды. Когда-нибудь я, может быть, сделаю фильм о крестьянах Романьи — этакий вестерн, но без стрельбы — и назову его «Ошадламадона». Это ругательство, но звучит ведь оно не хуже, чем «Расёмон».

Некий Нази любил приговаривать: «Могу, приказываю и хочу». У этого Нази, похожего на одну из масок народной романьольской комедии, были искалечены обе ноги, так как он, решив однажды спилить дерево, уселся на сук не с той стороны, с какой следовало. Занимался он посредничеством при продаже скота. Из-за своих переломанных ног Нази передвигался неуклюже, как лягушка. Идет вот так, раскорякой, и кричит: «Могу, приказываю и хочу!» Однажды он вынул сигарету изо рта Теодорани — типа, который всегда носил фашистскую форму и начищенные до блеска сапоги, а кончики своих усов намазывал мылом, чтобы они торчали, как пики, — и сказал: «Ты уже накурился, хватит. Теперь покурит Нази».

Когда я вспоминаю Гамбеттолу, карлицу-монахиню, всех этих греющихся у огня горбунов и сидящих на лавках хромых и калек, у меня всегда встает перед глазами Иероним Босх.

Проходили через Гамбеттолу и цыгане, и угольщики, направлявшиеся в горы Аbruццо. Иногда вечером, под страшный рев и визг чуявших опасность животных, в деревню въезжал фургон, над крышей которого поднимался дым. Видны были искры, языки пламени. В черном плаще и старой потрепанной шляпе проходил по широкой дороге человек, занимавшийся холощением свиней. Свиньи, чуя его приближение, начинали испуганно хрюкать. Этот тип успевал переспать со всеми местными девушками. Однажды от него забеременела деревенская дурочка, и все решили, что ее младенец — дьявольское отродье. Отсюда тема для эпизода «Чудо» в фильме Росселлини. И душевное волнение, побудившее меня взяться за фильм «Дорога», тоже отсюда.

В деревне — это связано все с теми же цыганами — я часто слышал разговоры о каких-то приворотных зельях, колдовских чарах. Одна женщина, синьора Анджелина, ходившая по домам шить тюфяки (нужно бы посвятить целую главу этим ремеслам: точильщику с его станком, измазанному сажей трубочисту — грозе прислуги), так вот, синьора Анджелина три дня работала в доме у бабушки, где ее и

кормили. Когда она, наклонясь, пришивала к тюфяку ватные шарики, я заметил висевшую у нее на шее ладанку — маленькую такую стеклянную коробочку, в которой виднелась прядка волос. «Что это?» — спросил я. «Вот тут мои волосы,— ответила она,— а тут — ус моего жениха. Ночью отстригла, когда он спал. Жених уехал на заработки в Триест, но теперь все равно будет привязан ко мне навсегда».

Какой-то старик с базарчика у Мареккьи мог наводить порчу на кур и овец или заговаривать их от дурного глаза.

А жена одного железнодорожника «впадала в транс». Она неплохо подрабатывала исцелением больных. Как-то я, затесавшись в группу стариков и старух, которые явились к ней на «консультацию», пробрался к самым дверям ее убогой гостиной; там я увидел сидевшую на стуле старушку с обрызганным водой лицом; она напряженно выгибала спину и говорила какому-то человеку, которого я не мог разглядеть: «С этой женщиной тебе не совладать, ты должен от нее отказаться». Сказав несколько слов, старушка начинала жалобно стонать. Потом из комнаты, пытаясь скрыть свое волнение, вышел здоровенный дядя. Он надел шляпу, но так и остался стоять на лестнице, рассчитывая, возможно, собраться с духом и вернуться в комнату за другим предсказанием. Слышал я еще всякие истории о домах с привидениями. Вилла, в которой жил мой друг Марио Монтанари, называлась «Карлетта». Поговаривали, что лет сто тому назад хозяин виллы подпоил свою кузину, а потом задушил ее, после чего по ночам из винного погреба стало доноситься какое-то бульканье. Люди считали, что это задушенная кухня вставляла резиновый шланг одним концом в винную бочку, а другим — в рот своему убийце, чтобы он в вечных муках захлебывался вином.

Романья — какая смесь матросской лихости и набожности! Край, над которым высится торжественно-мрачная гора Сан-Марино. Странная психология, отчаянная и еретическая, сочетающая в себе предрассудки и вызов самому господу богу. Люди без чувства юмора и потому беззащитные, но любящие понасмешничать и похваляться. Один романьолец сказал, что может съесть восемь метров сосисок, трех цыплят и свечку. Еще и свечку. Цирк! И съел. Правда, сразу же после этого его с посиневшим лицом и закатившимися глазами увезли на мотоцикле. Но эта чудовищная история всех рассмешила: надо же, умер от обжорства!

А одного человека звали Салито Даль Монте, то есть Восходящий с Горы. Именно Восходящий, а не какой-нибудь там Нисходящий: так и видишь его шествующим прямо по воздуху. Или взять парня по прозвищу Нин. Он был матросом и вечно пропадал в море, но время от времени присылал открытки своим друзьям по кафе Рауля: «Оказавшись проездом на острове Попугаев (попугай — презрительная кличка итальянских ловеласов), вспомнил всех вас...»

И все-таки есть в здешней жизни какая-то размеренность, какая-то необычайная мягкость, объясняющаяся, возможно, близостью моря. Я помню голос девочки, прозвучавший однажды летом в затененном переулке: «Который час?» «Уже добрых четыре...» — ответил кто-то. «А вот и не добрых», — нараспев сказала девочка, имея, вероятно, в виду, что уже давно перевалило за четыре.

Здешние женщины наделены прямо какой-то восточной страстностью. Еще когда я ходил в детский сад, была там одна послушница с черными локонами, в черном фартуке и с прыщами на воспаленном лице — признаком бурного брожения крови. Сколько ей было лет, сказать затрудняюсь. Несомненно только, что в ней, как

говорится, пробуждалась женщина. Так вот, эта послушница, изловив меня, начинала обнимать и тискать, обдавая запахом картофельных очистков, прокисшего супа и юбок монахинь.

Это был детский сад при женском монастыре Сан Винченцо, монахини которого ходят в белых чепцах. Помню, как однажды нас выстроили для участия в какой-то процессии, а мне поручили нести свечку. Одна из монахинь, в очках, делавших ее очень похожей на киноактера Гарольда Ллойда, указывая на свечку, сказала строго: «Смотри, чтоб она не погасла. Иисусу это неугодно». Дул сильный ветер. Я, совсем еще ребенок, был просто подавлен такой ответственностью. Дует ветер, а свечка не должна погаснуть. Что будет, если это случится? Как покарает меня господь? Между тем процессия двинулась — медленно, тяжело, растягиваясь, как мехи аккордеона. Короткая пробежка, остановка, снова несколько Шагов вперед, опять остановка. Что там происходило в голове колонны? Участники процессии должны были еще и петь: «Возлюбим, господи, тебя, ты отче наш...» Где-то в гуще этих сутан, в толпе монахов, священников, монахинь вдруг раздался скорбный, торжественный, глухой рокот музыки. Оркестр меня испугал, и кончилось тем, что я расплакался.

Первый и второй класс я проучился в школе Театини. Учился я вместе с тем самым Карлини, с которым мы видели удавленника на берегу Мареккьи. Наш учитель был настоящим живодером, но иногда он внезапно добрел. Случалось это перед праздниками, когда родители учеников приносили ему подарки, которые он складывал горкой рядом с собой, как это делают сейчас регулировщики уличного движения в праздник Бефаны. Набрав множество подарков, он прежде, чем отпустить всех на каникулы, заставлял нас петь: «*Giovinezza, eiovinezza, primavera di bele-e-e-ezza...*»¹ — и очень следил, чтобы отчетливо слышались все четыре «е». По окончании начальной школы меня отправили в Фано, в маленький провинциальный колледж при монастыре деи падри Кариссими. Именно к тому времени относится достопамятная встреча с Сарагиной, о которой я рассказал в фильме «8/2».

В Римини я вернулся, когда нужно было поступать в гимназию, что на улице Темпьо Малатестиано, теперь там находятся городская библиотека и картинная галерея. Здание гимназии казалось мне высоченным. Подниматься и спускаться по его лестницам было целым событием, сулящим уйму приключений. Иные из этих лестниц казались просто нескончаемыми.

Директор гимназии, прозванный Зевсом, был самым настоящим Манджафуоко и своими ножищами — каждая величиной с малолитражку — старался пристукнуть кого-нибудь из детей. Одним пинком он мог перебить позвоночник. Стоит себе вроде неподвижно, а только подойди — так саданет копытищем, что расплужишься, словно таракан.

Годы, проведенные в гимназии, были годами Гомера и «битв». В классе мы читали и заучивали наизусть «Илиаду»: каждый из нас отождествлял себя с одним из персонажей Гомера. Я был Улиссом и потому во время чтения стоял чуть в сторонке и смотрел вдаль. Титта, уже тогда парень тучный, был Аяксом, Марио Монтанари — Энеем, Луиджино Дольчи — Гектором, «коней укротителем», а самый старший из нас, Стаккьотти, сидевший в каждом классе по три года, был «Быстроногим Ахиллом». После обеда мы отправлялись гурьбой на небольшую площадь — разыгрывать Троянскую войну, бои между троянцами и ахейцами. А проще говоря,

ходили «биться». Учебники тогда связывались ремешками, и вот, потрясая этими связками, мы набрасывались друг на друга — в ход шли то ремни, то книги.

Все перипетии «Илиады» мы переживали и в классе, где видели уже не товарищей, а одних лишь героев Гомера: их приключения становились нашими собственными. Например, когда мы, читая «Илиаду», дошли до того места, где Гомер называет Аякса «глупой грудой мяса», Титта — Аякс, воспылав ненавистью к Гомеру, стал протестовать, словно поэт еще в те незапамятные времена решил оскорбить лично его, Титту.

А когда дело дошло до смерти Гектора, для нашего Гектора — Луиджино Дольчи наступил звездный час. Бедный Луиджино! Его, словно презренного червя, волокли по земле вдоль стен Трои:

«Черные кудри крутятся, глава Приамида по праху
Бьется, прекрасная прежде, а ныне врагам Олимпиец
Дал опозорить ее на родимой земле илионской!»
Луиджино был мертв.
«Мать увидала,
Рвет седые волосы, дорогое с себя покрывало
Мечет далеко и горестный вопль подымает о сыне»
Класс сидел затаив дыхание.

Только Стаккьотти, которому Вулкан выковал новые доспехи, мог обратить троянцев в бегство одним своим криком.

Но у Стаккьотти тоже было слабое место: пятка. И тогда троянцы вчетвером схватили его, стащили с ноги башмак и стали яростно лупить по пятке угольниками для черчения.

Лицо у Стаккьотти было словно ошпаренное, красное, сальное, все в угрях, а глаза какие-то оцепенелые, бесцветные и ускользающие, как яичный белок. Улыбался он вялой, неподвижной улыбкой, глядя куда-то в сторону, никогда ни с кем не разговаривал, вечно держал руки в карманах, быстро-быстро что-то там делая, и при этом начинал косить. А то вдруг, навалившись грудью на парту, весь урок шепотом упорно окликал девочку, сидевшую впереди, приговаривая: «Обернись, детка, что я тебе покажу». И когда та наконец, сердито фыркнув, оборачивалась, Стаккьотти шмякал на парту свой здоровенный фиолетовый «петушок». Может, парень был ненормальный. Он и в тюрьме сидел, и из всех школ объединенного королевства его выгоняли — по крайней мере такие ходили слухи. Как видно, наш Римини не был частью королевства, раз Стаккьотти продолжал посещать школу вместе с нами. Впоследствии он покончил жизнь самоубийством. Однажды зимним утром, когда было еще совсем темно, Стаккьотти нашли — уже застывшего и легкого, как марионетка, — перед церковью Поленты: он стоял там на коленях, весь засыпанный снегом.

Постепенно изучение английского языка и знакомство с новыми экзотическими именами привели к тому, что мы Променили Гомера на Эдгара Уоллеса. И вот Аякс, Эней, Улисс превратились в Тони Томаса (им у нас был Тита по кличке Жирный), в шулера международного класса графа Джимми Полтаво (Марио Монтанари) и в полковника Блэка Дэн Бондери (я).

Мы образовали этакое разбойничье трио, одним из первых подвигов которого было, например, похищение курицы у нашего соседа полковника Бельтрамелли.

Поскольку из книжек нам было известно, что полковник Дэн Бондери часто пускал в ход автоген, мы для проведения операции против нашего второго полковника пытались выпросить ацетиленовую горелку у одного механика, который нам ее, конечно, не дал. Пришлось довольствоваться обыкновенными ножницами: перерезав сетку курятника Бельтрамелли, мы утащили у него курицу.

Убийство было ужасным: свернуть шею курице — это же варварство, почти что преступление.

Вечерами мы, окунаясь в белые слои тумана, который окутывал Римини зимой, ходили к морю. Жалюзи были спущены, пансионаты закрыты, всюду царила тишина, нарушаемая лишь шумом моря...

Зато летом мы изводили парочки, которые, спрятавшись за лодками, занимались любовью: мы быстренько раздевались и, представ в чем мать родила перед влюбленными, обращались к мужчине: «Скажите, пожалуйста, который час?»

Днем, поскольку я был худ и страдал от этого комплексом неполноценности (меня дразнили Ганди или Килькой), в плавках я ходить стеснялся.

Я уединялся, обособливался, ссылаясь на пример великих людей — таких, скажем, как Леопарди,— чтобы оправдать этот свой страх перед плавками, свою неспособность наслаждаться морем, как наслаждались им другие ребята, всласть плескавшиеся в воде. (Возможно, поэтому меня до сих пор так влечет к морю, оно как вещь, которой ты никогда не обладал. Мир, населенный всякими чудовищами и призраками.)

Как бы там ни было, чтобы заполнить эту пустоту, я стал увлекаться искусством. Вместе с Демосом Бонини мы открыли художественную мастерскую, на витрине которой была выведена надпись: «Феб». Мы рисовали карикатуры и портретики синьор — как в ателье, так и на дому. Почему-то я выбрал себе псевдоним Феллас. Моей обязанностью было делать рисунки, а Бонини, настоящий художник, их раскрашивал.

Ателье фирмы «Феб» находилось как раз напротив белостенного собора, который летом казался еще белее обычного, словно высушенная солнцем раковина моллюска, а по ночам его стены как бы испускали лунное сияние. Это чудо из известняка, столь необычное и величественное, непохожее ни на какую другую церковь, ни на какое другое строение, всегда притягивало меня своей загадочностью и вселяло чувство робости.

Несколько раз летом я заходил в собор, когда там никого не было; от мраморных скамеек веяло прохладой; изображенные на гробницах епископы и средневековые рыцари взирали покровительственно, но в полумраке собора все же казались немножко зловещими. Была там вытесанная из древнего камня кафедра с лесенкой, по которой поднимался настоятель — еще один мастер раздавать оплеухи, — чтобы читать воскресную проповедь.

Однажды в августе — в церкви не было ни души — я взобрался на эту кафедру. От камня несло могильным холодом. Оглядев пустую церковь, я тихо сказал: «Возлюбленные чада мои...» Потом чуть погромче: «Возлюбленные чада мои...» Потом еще громче, так что стены откликнулись эхом: «Возлюбленные чада мои...»

Сойдя с кафедры, я едва не поддался соблазну опустошить кружку с пожертвованиями — такую попытку мы с Титтой однажды уже предприняли: он делал вид, будто молится, а я и еще кто-то, привязав к шпагату брусочек

намагниченного свинца, опускали его в щель кружки. Но монеты почему-то не приставали. И хорошо, так как дело это мне не нравилось.

А вот при церквушке деи Паолотти была маленькая часовня, отделенная от основного здания; туда время от времени привозили святить у монахов свою живность «усачки». «Усачками» мы прозвали этих женщин потому, что на верхней губе (да и на крепких, подрагивающих икрах) у них отчетливо виднелся золотистый или темный пушок. Мы, мальчишки, стоя снаружи, лихорадочно пересчитывали велосипеды, прислоненные к стене церкви, чтобы узнать, сколько «усачек» приехало сегодня. По разбитому фонарику, по педали без резины, по каким-то шутовинам, изготовленным вручную и прикрепленным проволочками и веревочками к рулю, мы пытались определить, находится ли в часовне рыжеволосая «усачка» из Сант-Арканджело, не надевавшая лифчика под свой вязаный свитер; приехали ли две сестры из Санта-Джустины, коренастые и самоуверенные (они собирались принять участие в велосипедных гонках «Джиро д'Италия»). Был еще велосипед, один вид которого заставлял наши сердца биться учащенно: принадлежал он могучей и мрачной «гладиаторше» из Сан-Лео — женщине с копной черных волос и фосфоресцирующими, словно у львицы, глазами, лениво и равнодушно смотревшими на тебя, как на пустое место.

Мы нетерпеливо заглядывали в часовенку, наполненную гулким блеянием, квохтанием, ослиным ревом. Наконец «усачки» выходили со своими курами, козами, кроликами и усаживались на велосипеды. Тут-то и наступал главный Момент! Заостренные рыльца седел, словно мышки, шустро скрывались под юбками из черного блестящего и скользкого сатина, отчего обтягивались, надувались, вспыхивали ослепительными бликами задницы, равных которым не было во всей Романье. Но насладиться зрелищем в полной мере мы не успевали: иногда «вспышки» происходили одновременно — слева, справа, впереди, позади нас, не могли же мы вертеться юлой, да и видимость приличия тоже нужно было соблюдать, хоть это и стоило нам немалых потерь. К счастью, некоторые «усачки», уже усевшись на велосипеды, на какое-то время задерживались, чтобы посудачить; поставив одну ногу на землю, а другую на педаль, они, выгнув спины, медленно покачивались в седлах, как волны в открытом море; потом загорелые икры напрягались для первого поворота педали и «усачки» трогали, громко прощаясь друг с другом, и вот уже кто-то из них заводил песню. «Усачки» возвращались в деревню. Церковь деи Серви казалась просто высоченной стеной без окон, начинавшейся сразу за кинотеатром «Фульгор». Много лет я вообще не подозревал, что это Церковь, так как своим фасадом и порталом она выходила на маленькую площадь, загроможденную рыночными палатками. Приходским священником там был дон Баравелли, преподававший у нас в лицее закон божий. Этот широкоплечий и совершенно лысый коротышка старался быть живым воплощением христианской заповеди о терпении. Чтобы не передуть всех нас, дон Баравелли входил в класс с закрытыми глазами, ощупью взбирался на кафедру и так проводил весь урок: он не желал нас видеть! Иногда, прикрыв лицо своими здоровенными, как у крестьянина, лапищами, он даже опускал голову на кафедру. Один только раз дон Баравелли открыл глаза и увидел большой костер между партами и нас самих, изображавших вокруг огня танец краснокожих.